

ПОЛЬСКИЙ МЕССИАНИЗМ, КАК ЖИВАЯ СИЛА

I.

Польская эмиграция тридцатых и сороковых годов прошлого века, направившаяся во Францию, оказалась немаловажным общеевропейским событием, — и великим событием была она в духовной жизни славянства: в Париже родился польский мессианизм. В наши дни Москва, пристанище беженцев, служит едва ли не главным средоточием польской «эмиграции» в пределах России. В стенах московских ютится малая, но не бездейственная по своим духовным влияниям горсть представителей польской мысли.

Я далек от искушения приписывать или предсказывать этой современной эмиграции историческое значение, сколько-нибудь приближающееся к значению той, единственной и неповторимой, которая была велика, прежде всего, величиим Адама Мицкевича. Но примечательно, что новейшая и малая эмиграция стоит под тем же знаком энтузиастической веры в польскую душу и в евхаристический смысл ее жертвенной участи. Знаменательно и радостно, что она всецело сливает в своей проповеди национальную польскую идею с идеей славянской и ищет синтеза своих верховных идеалов с глубинным самоопределением русского духа. Хочется верить, что долгая «семейная вражда» уже преодолевается сознанием неразрывной и, даст Бог, навек отныне нерушимой кровной и духовной связи узнавших, наконец, друг друга братьев, — связи, могущей и долженствующей торжествовать над всеми превратностями исторического рока, какими бы бедами (как не я думаю, но мнят напуганные и маловерные) ни грозил он нашим взаимным надеждам на водворение вожделенного свободного строя в славянской мировой громаде.

Хочется верить, что над славянством брезжит заря любви и что для Польши рассветает третий день ее пребывания во гробе — день воскресный. Я слышал от поляков слова упования на эту будущую любовь обоих наших народов, — любовь тем более крепкую, чем ожесточеннее была прежняя распря. Я слышал и напоминание: если ныне, в годину суда Божия над народами, когда будущее загадочно и еще во многом сомнительно, мы не научимся бескорыстно друг друга любить, — то научимся ли когда-либо потом? И единственный ответ, возникающий при этих призывах в сердце: — «Буди, буди!..»

II.

«Amicitia nisi inter bonos esse non potest», учит Цицерон. Дружба может быть только между добрыми; союз, основанный на общей ненависти, не есть то, что знаменуется святынею имени «дружба». И еще Софоклова Антигона провозглашает: «не в злобе нам общенье, но в любви дано». Только общение в любви есть истинное общение душ. Соборное общение невозможно без общего предмета любви, — живого, потому что любить можно только живое.

Но кто же «добр» и чрез то правомощен к союзу дружбы? «Никто не благ, кроме одного Бога», отвечает Евангелие. Как ни возвышенны те, не на градских скрижалях начертанные, но в сердце вписанные законы, о коих говорит Антигона, человечество после Христа знает еще высшие заветы, в свете которых исчезает всякий закон, ибо они вводят дух в царство благодати. «Категорический императив» Канта есть возврат к языческому сознанию, забвение о Христе, этический минимализм, неприемлемый для познавших Христову свободу, — даже если он, этот пресловутый императив, истолковывается не чисто формально, как толкуют его в Германии наших дней. Я хочу лишний раз свидетельствовать, что один Христос, переживаемый, как Лицо, может истинно сочетать дружащихся и общающихся, которые неложно добры постольку, поскольку любят Его, и что только такой союз не ущербляет, а возвращает личность.

Сказанное сугубо оправдывается в судьбах соборных личностей, какими являются народы в глазах того, для кого народность и племя — не биологический момент, но реальная духовная ценность. Из чего следует, что как польский мессианизм, так и славянская идея лишь тогда могут быть источником правого энтузиазма и вселенским служением, когда они переживаются религиозно. Без Христа нет личности, как отдельной, так и народной; *славянство же хочет быть соборностью*, на любви основанным союзом и духовным общением, «собранным духом» свободных народных личностей. Без Христа славянское чувство предназначенности на вселенский подвиг обращается в расовое притязание, внутренне бессильное и несостоятельное, и самое грядущее объединенное славянство — в принудительно организованный империалистический коллектив. Мы должны беречься ошибки германцев, вины давней и вырастающей из самих корней их духовного бытия, по истине вины трагической: убиения личности в культе безличного народного я.**

III.

Каждое освободительное усилие Польши было запечатлено в прошлом подъемом мистического воодушевления, доходившим почти до

религиозной экзальтации. И ныне от малой эмиграции, о которой я веду речь, веет этим «романтическим», как скажут с улыбкою скептики, жаром и вдохновением. Заоблачные созерцания наших духовидцев кажутся трезвыми и осмотрительными в сравнении с этою метафизическою восторженностью. Когда-то я писал о «русском уме»:

Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины, —
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.

Это высоко мною ценимое здравомыслие о земном, свойственное русской духовности, пленительно отсутствует в пророчественном лиризме польской души, и отсюда проистекают неизбежные смены иллюзий и разочарований, самонадеянности и уныния. Конечно, я говорю лишь об откровенных носителях народного идеализма, а не о тех обрекающих себя на искус практической деятельности трезвенников поневоле, что ставят себе законом житейскую рассудительность и холодную политическую расчетливость, — хотя и относительно этих тонких политиков в глубине души подозреваю, что не в их тонкости проявляется польский национальный гений и что прямой поляк даровитее мятежится, чем притворствует, и зорче провидит, нежели предусматривает.

Поляки — самые опрометчивые и самые вещице из славян, и необычайною прелестью и теплотою действительно пробужденной духовной жизни, как чем-то родным, желанным и заветным, дышит на русскую душу этот подслеповатый к действительности, не умеющий всесторонне охватить и опознать ее, пыл, этот — если позволено так выразиться — соборный субъективизм, мерящий историю летосчислением ангелов. И тут очевидным становится, что славянство, как энергия культурная, для позитивной мысли анахронизм, для немецкого разумения юродство или вечное детство, что наше лучшее, — то, где сокровище наше, — не от мира сего, хотя мы и не перестанем бороться с этим миром, доколе на нем не отпечатлеется наше чаяние, — что идея славянская по преимуществу задание духа.

IV.

Политическая идеология неизменно окрашивается у поляков в багряные и фиолетовые озарения, подобные просветам и отсветам, мерцающим под сводами какого-то мистического костела. Эта идеология смешивается с молитвою, ясновидением и тайнодействием, и как бы вливается в непрерывающуюся литургию духа, которую церковь терпит подле себя, как некое свободное пророчествование, изредка пресекая явные парадоксы религиозного сознания и возбраняя неумеренность ропота и

богоборческого мятежа в неустанном совопросничестве этого национального Иова.

С первых времен польского мессианизма наблюдаются в нем и черты славянофильства, понятого в смысле веры в особенное предназначение всего славянства к посланничеству вселенскому. Естественно обращается мысль к сравнению этой братской психологии с нашею и без труда открывает в обеих семейное сходство.

Одушевление славянскою идеею почти одновременно вспыхнуло в Чехии, в Польше и в России, и вдохновленные ею назвались у нас славянофилами. В среде западников эта идея не принялась по той простой причине, что им, как гуманистам и поборникам универсальных культурных норм, чужда была мистика родовой, народной и племенной личности. Чтобы обосновать постулат славянского творчества, нужно было углубить постижение славянского бытия; но западники в народном бытии видели только феномен национальности. Напротив, сознательно ли, или логически неосознанною, предпосылкою всякого славянофильства служила изначальная интуиция реального бытия великой племенной души, объемлющей и вмещающей в себе, как некий Элогим, отдельные народные души. Отсюда истекало утверждение не исторически доказанной, а априорно выведенной и лишь подлежащей историческому раскрытию «самобытности» славянского духа, как в его целом, так и в национальных его ипостасях. Славянская идея была, таким образом, нерасторжимо связана с обще-метафизическою и мистическою установкою сознания, и немудрено, что на нее упали у нас, в свою очередь, лазоревые и янтарные отблески церковных лампад и иконных окладов. Представлять же себе старых наших славянофилов всецело поглощенными национально-русскою мыслью и верой — ошибочно. Это значило бы, в последнем счете, вместе с немцами, разумеющими под «панславизмом» завоевательные вождедения России, и вместе с современною официальною Болгариею, порочить наше историческое освободительное дело отрицанием его внутреннего, жизненного, чисто-народного смысла и нравственной ценности.

То, что в Польше окрашивалось в цвета западной церкви, закономерно окрасилось на Руси в колорит церкви восточной, и эта верность обоих движений родной каждому стихии религиозного сознания единственно обусловила почвенность и живучесть обоих. Оторванные от глубинных корней народной веры, оба погибли бы, обмирщились и оскудели. Подобно тому, как поляки отдавали свое дело в руки того Христа, Который простирал к ним объятия с ветхих «кальвариев» их родины, — наши славянофилы, как Хомяков и Достоевский, возвышались до правды вселенской в своем чаянии вселенского оправдания русских святых.

Здесь особенно показателен предшественник и во многом учитель Достоевского — Тютчев. Кто, как он, чувствовал историческую трагедию

славянства? «Вековать ли нам в разлуке?» — пишет он в 1841 г., в Праге, в альбом Ганке:

Мы блуждали, мы бродили,
Разбрелись во все концы...
А случилось ли порою
Нам столкнуться как-нибудь,
Кровь не раз лилась рекою,
Меч терзал родную грудь.
И вражды безумной семя
Плод сторичный принесло:
Не одно погибло племя
Иль в чужбину отошло.
Иноверец, иноземец
Нас раздвинул, разломил:
Тех обезьязычил немец,
Этих турок осрамил...

Тютчев почитал естественным и вожделенным воссоединение Чехии с восточной церковью; но он не простирает этих пожеланий на Польшу. Безразличны ли ему судьбы ее? О, напротив — если кто из русских искренно плакал над Польшею в острейшие мгновения раздора, — это был он...

Но прочь от нас, венец беславья,
Сплетенный рабскою рукой!
Не за коран самодержавья
Кровь русская лилась рекой:
Другая мысль, другая вера
У русских билися в груди...

— пишет он в оде «На взятие Варшавы в 1831 г.», уподобляя Россию Агамемнону, пролившему родную кровь, чтобы испросить у богов дыханья попутных бурь. А именно, необходимо спасти «целость державы», дабы со временем она могла исполнить свое назначение — собрать славян. Убедительно ли звучат эти оправдания или нетвердо, — во всяком случае нельзя не расслышать глубокого, неподдельного чувства и религиозного крепкого обета за свой народ в следующем за тем обращении поэта к Польше:

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем;
И наша общая свобода,
Как Феникс, возродится в нем.

И странное жутко и светло пророчат другие, необычайные, почти непонятные слова Тютчева, реальный смысл которых теперь лишь приоткрывается современными событиями, являющими тайную связь в судьбах России между искуплением вины ее перед Польшей и осуществлением старинной уверенности, что — как выражал ее Достоевский — «Царьград рано или поздно должен быть наш»:

Тогда лишь в полном торжестве,
В славянской мировой громаде
Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша помирится.
А помирятся ж эти две
Не в Петербурге, не в Москве,
А в Киеве и в Цареграде.

V.

Что славянское дело — дело, прежде и главнее всего, духовное, в духе соборное, во Христе вселенское, — этим сознанием, казалось, проникнуто было каждое слово говоривших (как поляков, так и русских) на заседании московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева, где поэт Тадеуш Мицинский вдохновенно и прочувствованно повествовал о священном предании и живом преемстве польского мессианизма. С трогательною силою, — тем более острою, что поэт-мистик кажется радикальным противником догматической традиции, — звучало исповедание Христова Имени *de profundis*: если Христос — только мечта, нет Польше надежды на воскресение.

Такое сокровище молитвенной энергии должно рачительно лелеять и беречь, чтобы неприкосновенным уцелело оно среди всех искушений, из коих немалым является безбожная «культура», и еще горшим — подмена Единого Лица чужим. Я живо чувствую, как сила Польши растет, подобно силе Антея, от прикосновения к родной религиозной почве и оскудевает в меру отщепенства от соборного существа Церкви. И с первым, ближайшим искушением подходят лицемерные утешители от имени организованной и все организующей культуры «автономных» ценностей: «Почему же, однако, необходимо столь трагически связывать участь Польши и, если угодно, судьбы всего славянства с весьма сомнительною будущностью христианского верования? Основа воздвигаемого здания тем прочнее, чем меньше в ней пустых мест, заполненных иллюзиями». Но мы не прагматически смотрим на христианство и не затем хватаемся за крест, чтобы выбраться при помощи опорного рычага из пропасти; мы несем крест на плечах и крест в сердце. И только те розы были желанны нашим делам, что расцветают на кресте. Обездушенного славянского строя мы не хотим, он нам не привлекателен; душа же славянская — христианка, и

верховный Архангел племени, — когда мы поднимаем к нему духовный
взор, — исчезает над нами в свете Фавора.